

Александр МЕЛИХОВ

## ЛЕЧИТЬ И УЧИТЬ НАДО ВСЕХ

«Крутой маршрут» Евгении Гинзбург был опубликован в нашей стране в 1989 году и сразу же сделался классикой так называемой лагерной темы, в основном сосредоточенной на жестокостях и вопиющих несправедливостях. Это было более чем естественно для тех, кто угодил в эту молотилку, да и для всех нас, кто им сочувствовал: после стольких лет замалчивания наконец-то вызвать сострадание к жертвам (жажда сострадания — один из базовых человеческих инстинктов) и ненависть к их мучителям (жажда возмездия тоже одна из важнейших человеческих потребностей). И у Евгении Гинзбург от первого прочтения запомнилось только это — беспросветный ад.

Но при недавнем перечитывании я с удивлением обнаружил в этом мраке искорки архипелага Благодества не только среди товарищей и товарок по несчастью, но даже и среди тех, кто по своей социальной функции, несомненно, должны быть отнесены к пособникам палачей или, по меньшей мере, к циничным приспособленцам.

Напоминаю: красивая, поэтичная молодая женщина, принадлежащая к партийной элите, романтически преданная идеалам коммунизма, внезапно объявлена террористкой, ввергнута в унижения и мытарства допросов и тюрем и живет единственной надеждой, что советский суд во всем разберется и всем воздаст по справедливости. И суд дает ей десять лет!

Чудовищно! И в «воронке» она наконец срывается.

Комок подкатывает к горлу и душит. И я разражаюсь бурными, неостановимыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммунистами? Негодяи!

Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буянить. Колочу изо всех сил кулаками в запертую дверь своей клетки, бьюсь об нее головой.

Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды похож на того «пскопского», что в фильме «Мы из Кронштадта». Глуповатое добродушное лицо, припод-

---

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россось Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024).

нятые, круглые белесые брови. Слова, которыми он умирляет меня, сразу выводят из атмосферы Ужаса. Вроде деревенской домашней размолвки.

— Эй, девка! Чо разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, отекает... Парни-то и глядеть не станут!

Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее, но такое человеческое сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без тайной цели, чтобы он утешал меня.

— Я не девка вовсе. Я мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь я ничего, ну ровно ничего плохого не сделала... А они... Ты веришь мне?

— А как же? — удивляется он. — Кабы чего сделала, так рази бы вез я тебя сейчас в Бутырки? Там бы осталась. Да не реви ты, ну! Я, слышь, дверку-ту оставлю открыту. Дыши давай! Может, тебе аверьяновки дать? У нас есть... Дыши, дыши сколь хошь... Никого в машине-то нет... Тебя одну везу, последним рейсом. Забыли про тебя, а теперь, ровно царевну, одну волоку через всю Москву...

— Десять лет! Десять лет! За что? Да как они смеют? Разбойники!

— Вот еще на мою голову горласта бабенка попалась! Молчи, говорю! Знамо дело, не виновата. Кабы виновата была, али бы десять дали! Нынче вот знашь, сколько за день-то в расход! Семьдесят! Вот сколько... Одних баб, почитай, только и оставили... Трех даве увез.

Я моментально замолкаю, сраженная статистикой одного дня. Масштабы работы видны и в том, как плохо инструктирован конвой. Бедняга, ведь за этот разговор ему самому могли бы... Но я нема, как рыба.

— Ну, оразумелась, что ли? Вот и ладно. А то расшумелась тут, ровно на мужа...

Я выпиваю из его рук «аверьяновку». Мне сразу безумно хочется спать. Машину ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся сон слышу успокаивающий шепот «пскопского»:

— Ни в жисть десять лет не просидишь. Год-два от силы. А там какое ни на есть изобретение сделаешь — и отпустят. Домой, стало быть, к ребятишкам...

В его ласковой сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить.

И вообще, как хорошо трястись вот так в «черном вороне», если дверка клетки открыта настежь, а конвоир такой «пскопской» и так плохо выполняет инструкции по обращению с заключенными. И сейчас мы приедем в Бутырки. Каторга! Какая благодать!

Свободу этот чудесный паренек ей, разумеется, не вернул, но он вернул ей веру в добро, а следовательно, спас ей жизнь. Ибо без веры в некую тайную силу добра в этом аду выжить было невозможно. Зло не всемогуще — это давало надежду, а значит, и силу.

Гранин и Адамович в «Блокадной книге» писали, что у каждого выжившего был свой спаситель: у каждого наступал миг, когда он падал и не мог подняться. И тот, кто протягивал ему руку, давал новые силы прожить еще какие-то дни и ночи. Вот так и искорки великодушия, доброты, благородства давали силу одолеть еще какой-то отрезок Крутого маршрута. А из этих отрезков и складывался путь к спасению.

В тюрьме в связи с очередным обострением классовой борьбы вдруг вводят квоты на воздух.

Корпусной Борзой, запирая нас, роняет сквозь зубы:

— Будет открываться на 10 минут ежедневно.

Вот когда мы познали вкус воздуха! Одного крошечного глотка кислорода. Порядок установлен такой, что форточка открывается во время нашего вывода на

прогулку. Но если дежурит Ярославский или Святой Георгий, то они открывают не в момент вывода, а после предупреждения: «Приготовьтесь на прогулку». И благодаря этим хорошим людям, попавшим на такую работу, перепадает лишние пять минуток.

Мелочь? Помучайтесь от удушья — не дай бог, конечно! — и узнаете, мелочь это или не мелочь. Сегодня и представить невозможно, чем для этих «вертухаев» могла обернуться подобная утрата «непримиримости».

Однажды я потеряла сознание. Юля нажала беззвучный звонок и потребовала врача. Должно быть, я была в этот момент здорово похожа на покойницу, так как дежурный — хоть это и был Вурм — не сказав ни слова, тут же привел врача.

Это был первый случай нашего столкновения с ярославской тюремной медициной, если не считать регулярных обходов медсестры с ящичком лекарств. Сестра давала аспирин «от головы», хинин — от малярии, салол — «от живота». Универсальная валерьянка шла от всех остальных болезней.

Придя в себя, я увидела склонившееся ко мне лицо доктора. Оно поразило меня своей человечностью. Настоящее докторское лицо, внимательное, доброе, умное. Оно как бы возвращало к оставленной за стенами тюрьмы жизни, сверлило сердце соотней смертельно ранящих воспоминаний.

За круглые, мягкие черты, за добродушие, струившееся из каждой морщинки, мы потом прозвали этого тюремного доктора Андриюшенцией. Казалось, что именно так должны были его называть однокурсники.

— Ну вот, — смущенно буркнул доктор, вытаскивая шприц из моей худой, как палка, руки. — Сейчас камфара сделает свое дело, и вам станет хорошо. Будет ходить сестра и дважды в день вводить сердечное.

— Да разве здесь лекарства помогут! — осмелела вдруг Юля, смертельно испуганная перспективой остаться без меня. — Мне кажется, доктор, у нее просто кислородное голодание. Тем более на дворе такая жара. Может быть, вы дадите распрямление, чтобы у нас не закрывали форточку, раз такая тяжелая больная?

По лицу Андриюшенции медленно разливается кирпичный румянец. Он слегка косится на стоящего у него за спиной корпусного — «малолетнего Витушишников» (без сопровождения корпусного врач в камеру не допускается) и отвечает очень тихо:

— Это вне моей компетенции...

Витушишников откашливается и солидно резюмирует:

— Говорить разрешается только про болезнь.

Потом тянутся томительные дни, когда едва теплящаяся во мне жизнь поддерживается только неистребимым любопытством. Увидеть конец. В том числе и собственный конец.

Бейся, мой шторм, кружись,  
Сыпь леденящей дрожью!  
Хоть досмотрю свою жизнь,  
Если дожить невозможно...

Однако, несмотря на такое оптимистическое четверостишие, я наблюдаю у себя опасные симптомы. Вот, например, я уже несколько раз отказывалась от прогулки. А когда потрясенная этим Юля начинала страстным шепотом уговаривать меня «не терять последних капель кислорода», я устало отвечала:

— Не смогу обратно на третий этаж подняться...

Да и метаться по пятнадцатиметровой прогулочной камере тоже не так просто, когда сердце отказывается компенсировать движения.

Шутить тоже становится с каждым днем все труднее. Но временами мы все же пытаемся прибегать к этому испытанному лекарству от всех болезней. Излюбленная шутка-рассказ о неисправимом оптимисте. «Ну раз могила братская, то это уже хорошо». А когда дышать в камере становится особенно трудно, к «братской могиле» добавляется еще:

— А ты подумай-ка про Джордано Бруно. Ведь ему было много хуже. У него-то ведь камера была свинцовая.

После ухода врача мы долго спорим, как расценивать его работу в тюрьме.

— Пари держу: всю ночь сегодня будет во сне тебя видеть. Он ведь добряк, этот Андриюшенция!

— Несомненно! Но тем позорнее для него быть на такой должности.

— А что, лучше было бы, что ли, если бы на его месте какой-нибудь Сатрапук с дипломом?

И Юлия оказывается права. Через два дня Андриюшенция наглядно демонстрирует нам свою полезность.

— На прогулку приготовьтесь!

— Не пойду. Не могу ходить.

— Идите. Вам табуретку там поставили. Сидеть будете 15 минут на воздухе. По распоряжению врача.

И совсем уже теплое чувство возникает к Андриюшенции, когда надзирательница Пышка, открывая огромным — просто бутяфорским каким-то — ключом нашу форточку, одобряюще прошептала:

— Вам не десять, а двадцать минут проветривания. По распоряжению врача.

Тожe мелочь с точки зрения «непримиримых»: если не отдаешь жизнь, значит, при-служник сатрапов и прощения тебе нет. А что помог десяткам, может быть, сотням людей, то это мелочи: лес рубят — щепки летят.

А вот еще где теплились искорки благородства — в «торгаше» по прозвищу Ларешник.

Он два раза в месяц выдавал бумажку, на которой типографским способом было напечатано: «Заказ-требование от зэка... Имея на лицевом счету... рублей, прошу купить для меня...»

Даже после смерти отца мама продолжала высылать мне пятьдесят рублей в месяц, которые разрешались. Так что мы имели возможность купить себе мыло, зубную пасту, полагающиеся тетради и пластмассовые карандаши, а иногда даже сахар. Через день-два после заполнения такой бумажки Ларешник приносил нам то, что можно было в данный момент достать в тюремном ларьке.

Я с самого начала чувствовала какую-то идущую от него волну доброжелательности, хотя лицо его и было прикрыто требуемой маской непроницаемости. Сейчас, к концу второго года пребывания в этой тюрьме, между нами совершенно явственно ощущалась молчаливая внутренняя связь. Впрочем, не всегда даже молчаливая. Были уже у нас и свои секреты.

Так, во время моей болезни, когда форточки были закрыты и стоял страшный зной, я, передавая ему листочек «заказа», тихонько спросила:

— А нельзя вместо сахара немного конфеток? Хоть сто граммов. Самых дешевых. Подушечек... Так хочется...

— Не положено, — отвечал он.

Но когда через два дня он принес мой заказ и протянул мне в дверную форточку жестяную мисочку с сахаром, я увидела, что под ним, на дне миски, лежит горсточка конфет-ирисок.

— Спасибо, — тоном заговорщика шепнула я, возвращая ему пустую миску. Полагось все пересыпать в камерную посуду.

— Только сразу съешьте, чтобы не оставалось в камере, когда на прогулку пойдете...

Я дружески улыбнулась ему и еще доверительнее пообещала:

— Никогда вас не подведем.

С этого дня Ларешник не был уже чужим, он выделялся даже по сравнению с Пышкой, Святым Георгием или Ярославским. Тем не доставляло удовольствия делать зло, а этот хотел активно делать добро.

В другой раз, когда мы были лишены газеты, я однажды, учуяв шестым чувством одиночника, что дежурного надзирателя в коридоре поблизости нет, отважилась спросить Ларешника:

— Что нового на свете?

В условиях Ярославля это была такая дерзость, такое немыслимое преступление, что я сама испугалась сорвавшихся слов и скорей удивилась, чем обрадовалась, когда услышала в ответ:

— В Испании дело уж к концу идет...

И вот сейчас, в конце мая 1939 года, именно этот тайный доброжелатель, наш хороший Ларешник, и принес нам благую весть. Произошло это так. При очередной выписке из ларька я написала на требовании: «Две тетради». И вдруг он, привычно оглянувшись по сторонам, тихонько буркнул:

— Не надо тетрадей. Не потребуются. Уедете скоро отсюда.

Уедете, увы, отнюдь не на волю, а в новый колымский ад. В котором тоже удалось дожить до освобождения благодаря рассыпанным повсюду искоркам взаимопомощи.

В сорок седьмом году освобождения из лагеря вовсе не были массовыми, как, казалось бы, должно быть. Ведь это было десятилетие тридцать седьмого года, и у тысяч людей кончался календарный срок заключения, назначенный Военной коллегией, Трибуналом, Особым совещанием и многими другими судами. И тем не менее...

Правда, щелочка, через которую можно было протолкнуться за ворота лагерной зоны, немного расширилась, но все же количество освобождаемых составляло лишь ничтожный процент тех, кто с трепетом ждал своего «звонка», все еще уповая на незыблемость Закона.

Высшие соображения, которыми руководствовалось начальство, были абсолютно непостижимы даже для наиболее «подкованных» теоретически заключенных-марксистов, сохранивших, так сказать, навыки диалектического мышления. Почему одни попадали в списки на освобождение, а другим — большинству — предлагалось расписаться «до особого распоряжения» оставаться в лагере теперь уже лишенными даже такого иллюзорного утешения, как подсчитывание месяцев и недель, оставшихся до конца законного, назначенного судом срока? Это оставалось загадкой, недоступной простому человеческому рассудку.

Казалось бы, в этой атмосфере произвола, чинимого над нами, у остающихся в лагере могло возникать недружелюбное чувство к освобождающимся. А между тем я с полной ответственностью свидетельствую: освобождавшимся никто не завидовал! Я не хочу никакой идеализации. Смешно было бы, если бы я стала уверять, что заключенные были человечнее вольных. Сколько раз я наблюдала, как искали злобой лица тех, кто не прощал своим товарищам по несчастью лишних десяти граммов хлеба или менее изнурительных условий труда. Я видела самую черную зависть к каким-нибудь чуням первого срока или к месту на нижних нарах... И все эти чувства отражались на лицах. Ведь лица здесь были голые, не защищенные условными масками.

А вот освобождавшимся не завидовали! Все темное, кромешное исчезало как по волшебству, когда дело заходило о ВОЛЕ, пусть даже о куцей, худосочной колымской «вольнонаемности» (ведь и на тех, кто выходил из лагеря, распространя-

лись высшие соображения: одним разрешался выезд на материк, другие оставлялись в тайге).

Да, именно здесь, в заключении, я встретила с этим талантом СОРАДОСТИ, гораздо более редким и трудным, чем талант СОСТРАДАНИЯ. Парадокс? А может, не такой уж парадокс? Я всегда, еще с детства, обращала, например, внимание на то, какими прекрасными становятся лица людей, когда они наблюдают за каким-нибудь лесным зверьком, затесавшимся случайно в город. Ну, скажем, еж или белка... Как преображаются лица! Как сквозь раздраженную городскую угрюмость проступает какая-то детская чистота! Удивительный появляется отсвет на лицах. Он просвечивает через маску зла.

Вот такими становились и лица заключенных, когда кто-нибудь освобождался, складывал вещи в последний раз. Не в этап, а за зону! Это было выражение бескорыстной радости. Наверно, людям свойственно просветляться, когда они соприкасаются с естественным достоинством человека. Увидели белку или ежа, чудом затесавшихся в пыльный городской сад, — прикоснулись к природе. Увидели человека, выходящего из-за колючей проволоки, — прикоснулись к свободе. И перед ее появлением стихали все низменные страсти. Человеку, который в данный момент воплощал СВОБОДУ, нельзя было завидовать. Его надо было благоговейно проводить до ворот, чтобы он не расплескал вновь обретенного великого дара.

Мне же кажется, что просветление при соприкосновении со свободой, пусть даже чужой, имеет другую природу, чем умиление при виде белки или ежика: это единение в общей мечте, в общем идеале.

Студеным утром 15 февраля 1947 года этим драгоценным сосудом — вместилищем СВОБОДЫ — была я.

Не успела я показаться на пороге эльгенской вольной больницы, где проработала свои два последних эковских месяца, как меня обступили все заключенные, обслуживающие эту больницу. И я увидела на их лицах то самое выражение. Они любили меня сейчас за одно только то, что я воплощала для них сегодня мысль: все-таки МОЖНО выйти!

Все хотели оказать мне какую-нибудь услугу. Тетя Марфуша, шестидесятилетняя санитарка, сектантка, адвентистка седьмого дня, вытаскивала из-под полы халата мисочку с овсяной кашей. Она совала мне ее в руки и требовала, чтобы я ела кашу тут же, на ее глазах. С интонациями сказительницы она причитала при этом, что вот, мол, и дожила я до великого преображения, до двенадцатого дня, до какого дай Боже и всем дожить.

Лаборантка Матильда Журнакова критически осматривала мою телогрейку, пожимала плечами, находя такой вид абсолютно невозможным для вольной жизни, и вела разговор к тому, чтобы я без всяких предрассудков взяла у нее платье и чулки. О пальто подумаем после... Гардероб Матильды славился по всему Эльгену, потому что у Матильды каким-то чудом сохранился на воле муж и она постоянно получала из дома посылки. С той же одержимостью, с какой Марфуша вещала о двенадцатом дне, Матильда твердила теперь о возвращении к научной работе. Это был ее пунктик. Все годы заключения она мучилась по своей диссертации, которая к моменту ареста была совсем готова и даже день защиты был назначен.

Истопник Гариф, сидящий по статье 59-3 — бандитизм, стал настойчиво требовать, чтобы я, как получу паспорт, сразуехала в Азербайджан к его кунакам. А уж они, узнав, что я делила горе с их братом, достопочтенным Гарифуллой-оглы Гусейном, будут кормить и холить меня до конца моей жизни.

Все были настолько наэлектризованы, что даже фельдшер Коля, тяжелый заика, без малейшей запинки выкрикнул несколько фраз подряд.

— Быстро! К телефону! Таскан на проводе! Третий раз уже звонит... С ума сходит... Икру мечет...

Таскан это был лагпункт, где работал врачом ее новый муж Антон, сидевший отчасти по немецкой линии, — даже и любовь отдельным счастливым удавалось обрести. В данном случае это была любовь немца и еврейки.

Мы простились в половине двенадцатого ночи. Не позднее двенадцати он должен был быть в зоне. На этот раз мы не говорили друг другу обнадеживающих слов, как делали это прежде, когда меня увозили от него. Теперь перед нами была пропасть — шесть лет, оставшихся ему до конца срока. Без свидания. Может быть, даже без переписки.

Он ушел, а я как села за стол, так и просидела до утра. Шел июнь, и ночь была белая. К пяти часам очертания предметов потеряли ночную размытость, стали четкими. И я вдруг увидела в моем окне резко очерченную руку и рукав военной гимнастерки. Рука стукнула, и чей-то голос с украинским акцентом скомандовал: «На выход давай!»

Я выскочила на крыльцо. У дома стоял грузовик. В кузове, на каких-то ящиках, сидел Антон. Знакомый тасканский вохровец, по прозвищу Казак Мамай, отрывисто распорядился:

— Сидай у кабину, жинка! А як на трассу выедем, так перейдеш у кузов, та и побалакаете один з одним...

Я беспрекословно повиновалась. И вправду: как только машина миновала наш поселок, Мамай остановил шофера и самолично помог мне вскарабкаться наверх к Антону.

В этих неожиданных проводах, в доброту Казака Мамаю, давшего нам еще раз увидеться после последнего на-вечного прощанья, мы суеверно усмотрели доброе предзнаменование. Вот и не ждали, а нашелся хороший человек. И так же будет дальше. Добро встречается и там, где его совсем не ждешь. Увидимся, обязательно увидимся.

Снова драгоценную надежду подарил «прислужник палачей», хотите пишите этот титул в кавычках или без кавычек, его дар от этого не полиняет.

А потом стали брать «повторников»...

Как потом выяснилось, нас арестовали ВСЕГО ТОЛЬКО для того, чтобы оформить нам по приговору Особого совещания МГБ вечное, пожизненное поселение. Для этого требовалось переписать старое дело, отправить его фельдъегерской связью в Москву, дожидаться, пока там проштампуют (а очередь шла во всесоюзном масштабе), и наконец получить приговор опять все при помощи той же неторопливой фельдъегерской связи. На это уходило пять-шесть месяцев...

Ах, если бы мы знали это! Если бы хоть догадывались о таких гуманных намерениях! Тогда хватило бы сил переносить эту камеру. Ведь поселение — не лагерь. Это без конвоя, без колючей проволоки, в своей конуре, со своими близкими...

Но следователи не имели права сообщать нам о том, что нам грозит и что не грозит. (Только мой молодой рыцарь госбезопасности Чепцов, обнаруживший при обыске у видной террористки «Кота в сапогах», пытался намекнуть нам с Васькой (будущим писателем Василием Аксеновым. — А. М.), что теперь «совсем не то, что в тридцать седьмом году». И хоть я тогда, наученная всей многолетней ложью, и не поверила ему, а ведь оказалось правдой. И я задним числом благодарна Чепцову за эту его человеческую попытку утешить и рада за него, что у него дрогнуло сердце, не выдержав нашего с Васей прощания.)

Но все это узналось позднее. А пока мы, несчастные обладатели фамилий с начальными буквами алфавита, так сказать, первопроходцы сорок девятого года, должны были на собственных судьбах узнать, каковы цели этой повторной акции. И нас

терзал призрак нового лагерного срока. Мы ждали полного повторения всей программы тридцать седьмого, а это было свыше человеческих сил.

Поэтому я и готовилась по ночам к смерти, перебирала всю свою жизнь, все боли, беды, обиды. И все свои великие вины. Читала про себя наизусть по-немецки католические молитвы, которым научил меня Антон. И впервые в жизни мечтала о церкви как о прибежище. Как это, наверно, целительно — войти в храм. Прислониться лбом к колонне. Она прохладная и чистая. Никого вокруг не замечать. Но чувствовать чью-то невидимую руку на своей голове. Ты один знаешь, как я устала, Господи...

...Днем и ночью в камере спорили о том, что с нами будет. Назывались новые чудовищные сроки. Двадцать лет... Двадцать пять... Только Гертруда проявляла оптимизм. Уверяла, что будут созданы какие-то промежуточные формы гетто для бывших заключенных, нечто среднее между лагерем и вольным поселением.

— Цум байшпиль, колькоз «Красная репа», — заканчивала она на своем волапюке. Это было не лишено остроумия, и главное — всем хотелось, чтобы это было правдой. С тех пор разговор о том, что нас ждет — лагерь или поселение, — формулировался кратко: Эльген или «Красная репа»?

Наступили ноябрьские праздники. <...> Следователи не работали три дня, никуда никого не вызывали, и тоска, охватившая герметически закупоренную камеру, как бы материализовалась, стелясь по полу грязными пятнами.

И вдруг среди этой могильной тишины, в ночь на девятое, загремели замки, закричала ржавым голосом дверь камеры. Меня! На допрос!

Через минуту я уже жадно вдыхала морозный ноябрьский воздух, стоя у вахты в ожидании машины. Здесь возили на допросы на легковой. Я незаметно покрутила ручку, спускающую боковое стекло, и полакомилась кислородцем. Конвоир сделал вид, что не заметил.

Гайдуков (следователь. — А. М.) после праздников был какой-то отекий и еще более равнодушный, чем обычно.

— Ну вот и оформили вас, — эпически сказал он, похлопывая ладонью по толстой розовой папке моего «дела». Это было то самое дело, заведенное еще в тридцать седьмом году. Только папка была новая, свежая, с четкой печатной надписью наверху: «Хранить вечно». Под этой надписью — другая, вся через дефисы: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ. Если прикинуть литераторским глазом, то в папке не меньше двадцати печатных листов.

— Неужели все обо мне? — вяло поинтересовалась я.

— А то о ком же? — удивился Гайдуков. Вдруг на его столе зазвонил телефон.

— Да, да, — несколько оживившись, подтвердил мой следователь, — да, у меня. Слушаю, товарищ полковник... Сию минуту, товарищ полковник...

Обернувшись ко мне, следователь сообщил:

— Вас желает видеть наш начальник — полковник Цирульницкий. Следуйте за мной!

У полковника был очень импозантный, почти вельможный вид. Он был в меру высок и в меру дороден, с орлиным носом, с живописной сединой в еще густых волосах. К его внешности подошла бы средневековая кардинальская мантия. Но орденские колодки, разноцветной мозаикой теснившиеся на его груди, напоминали, что заслуги его связаны отнюдь не со средними веками.

— Садитесь! — Это мне. — Можете идти... — Это Гайдукову.

Дальше пошло непонятное, необъяснимое! Полковник вдруг сбросил с лица всю важность и заговорил, называя меня по имени-отчеству, точно за чайным столом.

— Какой у вас чудный мальчик! Он приходил за разрешением на передачу. Я лобовался им. И как смело он с нами разговаривает! Обычно ведь нас боятся...

Он произнес последние слова со странной интонацией. Не с важностью, не с самодовольством, а даже с каким-то оттенком горечи.

— У вас один мальчик? — спросил он.

Это был именно тот вопрос, которого я не могла перенести. Я долго молчала, мысленно твердя себе Васину просьбу: «Не плачь при них!» Пауза затянулась. Полковник с недоумением глядел на меня.

— Было два. После того как вмешались в мою жизнь, стал один.

— Война?

— Блокада. Ленинград.

— Но ведь это и при вас могло случиться.

— Нет. Я бы из огня живого вынесла.

Теперь полковник смотрел на меня просто-таки с необъяснимым сочувствием. Я внутренне одернула себя. Что это я? Еще не изучила за двенадцать лет их ухватки? Сейчас, наверно, предложит освободить меня. В обмен на определенные услуги. И я отвечаю на добрый взгляд настороженным враждебным взглядом. Полковник усмехается.

— Не любите вы нас...

— И с чего бы... — непроизвольно слетает с моих губ. Тут же пугаюсь. Добился-таки он своего, сбил меня с официального тона. А сейчас, убедившись, что ничего со мной не выходит, начнет расправу. Вспоминаю рассказы о карцерах дома Васькова.

Но полковник и не думает злиться. Постукивает карандашом по настольному стеклу и задумчиво говорит, как бы размышляя вслух:

— Да, удивительный у вас мальчик. У меня такой же... То есть такой же по возрасту. А вот хватило ли бы у него смелости в нужный момент идти заступаться за отца в такое страшное место — этого я не знаю. Так что видите — в каждой беде есть и хорошая сторона. Теперь вы убедились, как ваш сынок вас любит.

Нет, оказывается, я еще не совсем одеревенела. Слова о сыновней любви, да еще произнесенные полковником МГБ в «белом доме», вдруг потрясли меня. И я нарушила обет, не соблюла Васькину просьбу: заплакала при них.

Полковник с неожиданной легкостью встал со своего места, налил воды в стакан, поднес мне. Я судорожно глотала воду, стуча зубами о стекло. И вдруг различила совсем уж немислимую в этих устах фразу:

— Я знаю, что вы ни в чем не виноваты...

Да что же это такое? Какое-то уж совсем чудовищное коварство? Или... Или... Неужели искренно?

— Да, я это знаю, — продолжал полковник. — Но сделать из этого все выводы — выше моих возможностей. Однако облегчить ваше положение могу. И сделаю это. Вот читайте!

Он вынул из ящика папку с бумагами. Протянул мне эту папку и подвинул ближе настольную лампу.

Я долго читала механически, от волнения не в силах связать казенные слова в смысловое целое. Фразы пузырились и лопались, не оставляя следа. Но вот наконец кое-что проясняется.

Бумага адресована в Особое совещание при МГБ СССР. Это копия той, что уже отправлена в Москву. «Направляется дело такой-то по обвинению... бу-бу-бу-бу-бу... Ну, это все условный код, применяемый в царстве Змея Горыныча. Но вот и суть! «Для ссылки на поселение...» Ссылка на поселение! Колхоз «Красная репа»! Счастье! Значит, не Эльген, не лагерь, не колючая проволока... Значит, небо надо мной будет открытое?

Поднимаю на полковника счастливые глаза.

— Поселение? Вольное поселение? С семьей можно?

— Да. И из тюрьмы вы тоже скоро выйдете. Осталось несколько дней.

Он протягивает мне другую бумажку. Это копия письма, посланного им прокурору. Он ходатайствует, чтобы в отношении меня была изменена «мера пресечения», чтобы «содержание под стражей заменить подпиской о невыезде». И мотивирует просьбу тем, что остался без средств к существованию несовершеннолетний сын.

— Видите? Я превратил вашего семнадцатилетнего сына в ребенка, чтобы вас выпустить.

— И что прокурор?

— Согласен. Я говорил с ним сегодня. Но официальной резолюции еще нет. Обещал завтра. Ну, пока бумагу проведут через все канцелярские каналы, пройдет еще дней пять. Считайте, что через неделю будете дома, с сыном. Вас вызовут с вещами. Это будет — на волю. Работать будете на старом месте.

У меня мелькает мысль — попросить его тут же дать разрешение на удочерение Тони. Но он уже нажал кнопку звонка, и в дверях уже стоит пришедший за мной конвоир.

— Уведите арестованную, — приказывает полковник, почти не разжимая губ. Лицо у него снова вельможное, непроницаемое. И все, что он сейчас говорил мне, кажется какой-то фантазмагорией, сном, увиденным на ходу.

Но для этой фантазмагии автор находит рациональное объяснение.

Тогда все это загадочное поведение было мне неясно. Только после отъезда полковника из Магадана я услышала, что во время моей эпопеи сорок девятого года полковник уже знал о своей близкой отставке. Он был ошарашен этим, душевно метался, не находя объяснений чинимой над ним «несправедливости», и, может быть, впервые задумался о судьбах других людей. Я просто попалась ему под руку во время его великого смятения чувств.

А то, что с ним случилось, было связано с другим землетрясением сорок девятого года, эпицентр которого находился на материке. До нас еще только начали доноситься слабые раскаты этого далекого грома. Дело в том, что у полковника, при всех его заслугах перед органами, был изъян в анкете. Изъян роковой и неустранимый. Он относился к пятому пункту анкеты — о национальной принадлежности.

Возможно, все обстояло именно так: чувствительность в полковнике была пробуждена несправедливостью, испытанной на собственной шкуре. Но благородный поступок все равно остается благородным поступком: многих личные неудачи только ожесточают.

В статусе ссыльной обнаружилась еще одна мелкая морока: явилась агитаторша с призывом идти голосовать. И обычная отмазка — мы-де недостойны — не сработала.

На этот раз наша стандартная отговорка не приостановила напористую агитаторшу.

— Нет, — возразила она, входя, — ваше поражение в правах кончилось пятнадцатого февраля нынешнего года. Я агитатор вашего района и хочу побеседовать с вами.

Это была первоклассная, ну просто великолепная колымская вольная дама. Из общественниц. Жена какого-нибудь не самого высокого, но и не совсем рядового чиновника. Вокруг нее клубился обволакивающий аромат модных духов «Белая сирень». Она сверкала перламутровым маникюром и золотыми коронками. Да и весь остальной реквизит был в полной исправности: темно-голубое джерси, чернобурка, меховые расшитые бисером чукотские унты.

— Хочу вас прежде всего поздравить, — сказала она, протягивая мне руку, — от души приветствовать вас с возвращением в семью трудящихся.

У меня стало горько во рту. Это были те самые незабвенные словеса, что красовались на наших эльгенских воротах. «Через самоотверженный труд вернемся в семью трудящихся».

— Вы ошибаетесь, — угрюмо буркнула я, — у меня пожизненное поселение.

— Нет, милая, не ошибаюсь. По инструкции ссыльнопоселенцы пользуются избирательным правом.

Она самым демократическим образом уселась на край моей кровати и сразу принялась рассказывать мне о производственных достижениях того знатного вольного горняка, за которого мы должны были голосовать.

Это была сталинистка умиленного типа. Она просто вся сочилась благостным восхищением, искренним желанием приобщить и меня, изгоя, к тому гармоничному миру, в котором так плодотворно живет она. Она говорила со мной приблизительно так, как, наверно, разговаривают кроткие и терпеливые монахини-миссионерши с грубыми африканскими аборигенами.

— Так значит, вы меня поняли? Ссыльнопоселенцы пользуются правом избирать...

— А быть избранными?

— То есть как это? — любознательно осведомилась она.

— Ну так... Вдруг, например, на предвыборном собрании кто-нибудь назовет мою кандидатуру в местный Совет. Могу я баллотироваться?

Агитаторша рассмеялась рассыпчатым и чистым детским смехом.

— Вот и видно, как вы давно оторваны от жизни. Что же вы думаете — так каждый и кричит на предвыборном собрании, что ему вздумается? Списки-то ведь уж заранее подработаны в партийных органах. Ну, ничего, приходите к нам на агитпункт, помаленьку войдете в курс... Вы ведь, наверно, тогда еще совсем молоденькая были, когда это случилось-то с вами...

— Что случилось? — с тупым упрямством переспросила я.

— Ну, вот когда вы в контрреволюционную организацию попали. Молоденькая были, не разобрались... А они воспользовались... В каждую щель лезут...

— Кто лезет в щель? — еще более тупо спросила я.

— Ну иностранные-то агенты! От разведок... Которые завербовали вас. Но вы не расстраивайтесь. Теперь уж это давно прошло. И Советская власть хочет исправить тех, кто по молодости оступился...

— Красивое у вас кольцо, — сказала я, не отводя глаз от сапфирового камня на ее пальце.

— Нравится? — добродушно переспросила она. — Главное, к этому костюму идет... Да, говорят, и к глазам...

Она бросила мимолетный застенчивый взгляд в зеркало. Глаза у нее и впрямь были безоблачно-голубые.

На прощанье она еще обладала меня улыбкой и дала лакированную открытку немислимой красоты. Наискосок пышной алой розы вилась золотая лента с надписью «Все на выборы!». Потом от имени всего коллектива агитаторов обратилась ко мне с просьбой не опаздывать, проголосовать пораньше, проявить с первого же шага своей новой жизни высокую сознательность.

Дура, конечно, но ведь добрая дура!

И вот, пожалуй, самая значительная глава — «Коменданты изучают классиков».

В середине августа я получила по почте официальный пакет. Магаданский отдел народного образования приглашал меня зайти для переговоров о назначении на работу. Пакет пришел в пятницу, а идти надо было в понедельник. Мне представлялось, таким образом, целых три дня для колебаний между боязнью «сглазить» и непреодолимым желанием показать эту бумажку всем, кто предрекал неудачу моим дерзким претензиям.

Не выдержала — показала. Неслыханный пакет передавали из рук в руки, перечитывали, обсуждали. Вызывают в гороно! Вечную поселенку — в гороно! По неудержимой склонности к широким обобщениям на основе единичных фактов наши бывшие заключенные истолковали эту бумажку как вернейшее знамение скорой

всеобщей реабилитации. Отдельные закоренелые скептики кривили губы: «Какая-нибудь хитрость! Не может этого быть».

Поверить действительно было трудно. Конечно, горону не такое учреждение, как, скажем, главк или политуправление, величественное с виду, окруженное охраной. Но все-таки и горону — один из островков вольного мира. Туда вход для касты неприкасаемых прочно закрыт. Это не то что наше сануправление, где работает масса бывших ээка и поселенцев.

Я первая из наших переступаю этот порог. И пока иду по незнакомым коридорам, меня не оставляет чувство ожидания внезапного удара. В отделе кадров на переднем плане — очень нарядная дама с державным бюстом. В глубине комнаты, спиной к двери — мужская фигура, склонившаяся над бумагами. Молча протягиваю даме мою заветную бумажку. Она долго вчитывается в нее с таким напряженным видом, точно это китайские иероглифы.

— Это вы сами и будете? — вопрошает она наконец.

Потом она подходит к сейфу, огромному, храмообразному, вынимает оттуда бумажные листы и кладет их передо мной.

— Заполняйте.

Анкета. Анкета для лиц, вступающих на педагогическое поприще в этом благословенном крае. Уникальная в моей жизни анкета. Потому что в тридцатых годах таких ЕЩЕ не было, а после Двадцатого съезда и нашего возвращения на материк их УЖЕ не было. Эта анкета произвела на меня неизгладимое впечатление. До сих пор помню отдельные вопросы. Девичья фамилия матери вашего первого мужа? В скобках — второго, третьего... Назовите адреса и места работы ваших братьев, их жен, ваших сестер и их мужей. Боже мой, Боже мой! Куда я лезу? <...> Но пути к отступлению были отрезаны.

— Сядьте вон за тот столик и заполняйте четким почерком, без помарок, — распорядилась дама, а сама углубилась в какие-то очень красивые разноцветные полированные папки.

Надо было видеть лицо этой кадровички, когда после долгой работы я выложила наконец перед ней заполненные листы. И как было по-человечески ее не понять! Ей, призванной вылавливать какую-нибудь раскулаченную двоюродную бабушку или жену деверя с нерусской фамилией, ей, натренированной на такие тонкости, вдруг с циничной открытостью вывалили прямо на стол смертные террористические статьи Уголовного кодекса, Военную коллегия, вечное поселение, двух репрессированных мужей и кучу репрессированных родственников со стороны Антона. Не говоря уже о массе немецких фамилий, которых не могли перекрыть православные Аксеновы, поскольку у Павла была всего одна сестра и один брат, а у Антона четыре сестры и четыре брата, двое из которых находились к тому же в Западной Германии.

— Андрей Иваныч! — позвала кадровичка смятым голосом. — Можно вас на минуточку?

Она звала на помощь, хотя ей было известно, что по каким-то неведомым высшим соображениям меня решили допустить к преподаванию, что есть указание «оформить». Но она просто не могла с собой справиться. Годами выработанные условные рефлексы валили ее с ног. Она была сейчас точно борзая, которую почему-то заставляют отпустить пойманную дичь.

Молодой человек, сидевший к нам спиной, встал и подошел к столу дамы. У него была запоминающаяся наружность. Этаким дореволюционный классный наставник с матовым челом. Он был явно умен. По его внимательным глазам и удлиненному сжатому рту было видно, что за время, протекшее с пятого марта, он, в отличие от своей начальницы, кое-что понял и, во всяком случае, научился ничему не удивляться. С непроницаемым видом он прочел список моих преступлений и данные моей генеалогии. Потом сказал:

— Отлично!

Дама вздрогнула.

— Отлично, — продолжал он, — теперь напишите заявление о предоставлении вам вакантной должности преподавателя русского языка и литературы в школе взрослых. Приложите документы об образовании.

Дама оживилась от вспыхнувшей надежды.

— Документов об образовании у вас на руках, конечно, нет? — спросила она.

— Почему же? Вот, пожалуйста. Правда, копии. Но законно заверенные...

Неприятно пораженная, она стала внимательно читать мои дипломы. Аккуратно подбритые бровки все ползли и ползли вверх. Бедняге нелегко давалась задача — совместить такие дипломы с ТАКОЙ анкетой. Но ее коллега мгновенно сориентировался.

— Вот и хорошо, что будете работать со взрослыми. Вам, как вузовскому работнику, это будет привычнее, чем детская школа.

Привычнее! Господи, да был ли мальчик-то? Где-то далеко-далеко, в непроглядной дали — за горами, за долами, за тюрьмами-лагерями, — маячила в извилинах памяти некая молодая дуреха, самоуверенно вещавшая с кафедры хорошо заученные уроки.

На минуту меня охватывает ужас. Куда я лезу? Чему я буду учить? Может быть, я уже все забыла? Может быть, они не захотят меня слушать?

— Ну вот, резолюция уже есть, — очень лояльно говорит этот самый Андрей Иваныч, возвращаясь с моими бумагами от начальства, — сейчас получите выписку из приказа и можете идти к директору школы.

И вот первый урок.

Что это? Передо мной, сверкая золотыми погонами и отлично вычищенными сапогами, сидели офицеры. Одни сплошные офицеры. Сорок человек. Среди них мелькали знакомые мне лица. Да это наши коменданты! Бывшие и нынешние! Молодые и постарше. Позднее мне объяснили, что в связи с новыми веяниями от офицеров потребовался образовательный ценз, и им срочно пришлось идти в школу взрослых приобрести ставший необходимым аттестат зрелости.

А я-то рисовала себе в качестве моих учеников рабочих с авторемонтного завода, из аэропорта, может быть, грузчиков из бухты Нагаево. Я представляла себе мужественных трудолюбивых людей, среди которых будет много моих товарищей по несчастью. Мечтала о том, как я сдружусь с ними, как они будут благодарны мне за то, что я смогу дать им. И вот...

— Преподавательница русского языка и литературы, — представила меня директорша, и я увидела, что в глазах моих комендантов вспыхнуло острое любопытство, насмешливая ухмылка, даже, пожалуй, враждебность. Тем не менее все они встали и по-военному четко гаркнули:

— Здравствуйте, товарищ преподаватель!

...В их взглядах, устремленных на меня, больше всего сквозила бдительность и меньше всего любознательность, желание получить от меня что-то новое, до сих пор неизвестное им.

На помощь, как всегда, пришел мудрый Антон.

— В общем-то, большинство из них деревенские Ванятки. Чувство реальности, наверно, есть у них... А еще поучатся годик — совсем другими людьми станут... Самое главное, абсолютно забудь про их погоны и чины. Обращайся с ними как с обычными учениками...

Легко сказать! А каково рвать прочные, устоявшиеся условные рефлексy! Эти сапоги, эти гладко выбритые скулы и канты на воротничках вызывали во мне ком-

плекс преследования. Я без конца всматривалась в эти лица и видела в них только надменность или, в лучшем случае, усмешку принужденного внимания. Я входила в класс и, казалось, физически ощущала излучение угрюмого недоверия. Некоторые, наверно, держат ухо остро в ожидании, когда я начну «протаскивать» что-нибудь такое идеологически сомнительное. Другие, видимо, не верили, что я действительно постигла бездну премудрости. Эти дотошно переспрашивали даты, названия местностей, заглавия произведений, откровенно заглядывали в учебник для проверки.

Отношения еще больше обострились после первого контрольного диктанта. Он принес колоссальный урожай двоек. Мрачная атмосфера сгустилась над классом. Теперь эти люди, до сих пор настроенные против меня, так сказать, в общем порядке, были еще и персонально оскорблены мной. Те, кто был поумнее, просто затаили недоброжелательное чувство, но те, кто не мог смириться ни со своей непривычной ролью, ни вообще с новыми веяниями, пошли в дирекцию жаловаться.

В класс после этой жалобы пришел завуч. Он убедительно и многословно разъяснял, что товарищи офицеры не должны думать, будто отметки выставляются по произволу преподавателя. Имеется «шкала», утвержденная министерством, по которой за четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки положено ставить двойку.

Но понемногу что-то сдвигалось.

Была надежда их понять, прорваться сквозь броню их обросших упитанным мясом сердец к самой сердцевинке, где, возможно, что-то и таилось.

— Позвольте, а зачем вам это нужно, к сердцам-то ихним пробиваться! И что вы можете в глубине этих жандармских сердец обнаружить?

Так резко оборвал в одно из воскресений мои излияния друг Антона Михаил Францевич Гейс, тот самый, что первым принес нам весть о смерти Великого и Мудрого. Гейс был непримирим в своей памяти о пережитых им муках. Он не делал различий между Вдохновителем и Организатором и десятками тысяч Ваняток, ставивших штамп на наши ссыльные удостоверения. С самого начала он советовал мне отказать от работы в школе, поскольку «вместо учеников вам подсунули палачей».

— Ладно, допустим, вам очень трудно было отказать от работы по специальности, которой вы так жаждали все время. Ну и учите уж их чему положено. Но душу-то зачем вкладывать? Поберегите ее до лучших времен. А они недалеко...

Только оставаясь наедине с Антоном, я не стеснялась высказывать пока еще не оформившиеся возражения Гейсу.

— Так ведь конца не будет, правда? Они — нас, потом — мы их, потом опять... До каких пор будет кругом ненависть? Ну я не говорю, конечно, о главных, пусть о них решается вопрос в меру их преступлений, но вот такие коменданты... А сколько раз в лагере мы выживали благодаря добрым конвоирам! А Тимошкина вспомни! А ты знаешь, что третьего дня было после урока о Пушкине? Лейтенант Погорелко подошел ко мне уже на перемене и попросил меня прочесть еще раз, или, как он выразился, «рассказать» еще раз, стихи Пушкина «Безумных лет угасшее веселье». А когда я ему сказала, что ведь уже был звонок и разве он не хочет покурить, то он ответил, что папироска всегда при нем, а вот такие стихи не каждый день услышишь. И я всю большую перемену читала им наизусть Пушкина. А они — Погорелко и еще человек пять — не ходили курить, слушали. И как еще слушали! И хочешь презирай меня — хочешь нет, но я видела в них в это время не комендантов, а своих учеников. И мне ужасно хотелось, чтобы им нравились именно те стихи, которые люблю я...

На одном из очередных заседаний педсовета завуч сдержанно сказал, что офицеры моими уроками довольны. А еще через неделю ко мне подошел староста класса капитан Разуваев и высказался в том смысле, что сейчас, поздней осенью, вечера

стали очень ветреными и темными. Возвращаться домой после уроков в одиннадцать часов ночи, да еще идти через пустырь в Нагаево, стало небезопасно. И класс постановил ввести дежурство. Каждый день меня будет провожать кто-нибудь из офицеров до самого дома.

Меня обычно встречал Антон, но в те вечера, когда он дежурил по ночам (он снова работал теперь в больнице), мне действительно приходилось трудно. Поэтому я с радостью приняла предложение офицеров. Теперь, когда я спускалась вниз в раздевалку, меня ждал уже там один из моих вооруженных учеников, и под его охраной я спокойно возвращалась в Нагаево.

Немало я походила под конвоем, но такое оригинальное конвоирование было даже мне внове. Мы дружно шагали в ногу, а на рытвинах и ухабах очередной спутник деликатно поддерживал меня под руку. Разговоров во время этих возвращений было то больше, то меньше, в зависимости от характера дежурного провожатого, но одно соблюдалось всегда: мы никогда не говорили о политике, хотя события напряженно нарастали и каждый день приносил с собой новые впечатления, надежды и разочарования.

Мы говорили почти всегда о литературе, о классиках, которых мы изучали в классе. Часто это была с их стороны дань вежливости, заполнение пустого времени. Но порой прорывались вдруг признаки неподдельного интереса к книге. Иногда я использовала это время для дополнительных занятий на ходу. Память у меня тогда была очень хорошая, я помнила индивидуальные ошибки каждого и разъясняла ему их, пробираясь через наш знаменитый пустырь.

Однажды пришла очередь провожать меня моему собственному коменданту Гохову. Всю дорогу я толковала ему о правописании суффиксов прилагательных, а уже на спуске к Нагаево вдруг вспомнила вслух:

— Да, завтра ведь пятнадцатое! Завтра мне к вам в комендатуру. Отмечаться...

...Прощаясь со мной у моего крыльца, он шутя поблагодарил «за дополнительное занятие на ходу» и сказал, чтобы я завтра пришла минут за десять до открытия комендатуры. Он придет пораньше и быстро меня отметит, а то ему каждый раз неловко при мысли, что такая образованная дама стоит — да хоть бы и сидит — у него в коридоре.

...А между тем вопрос о том, возможно ли, допустимо ли доброе отношение к таким оригинальным ученикам, как мои, не сходил с повестки дня за нашим воскресным столом. Мои отношения с Гейсом заметно ухудшались. Меня злило, что я не всегда нахожу достаточно убедительные возражения против его хлестких аргументов, в то время как внутренне убеждена, что я права. Гейс вел себя наступательно. Зло острил.

— Так, значит, они в сущности славные ребята, эти офицеры определенного ведомства? И их довольно приятно обучать классической литературе? Тем более что вам так хотелось вернуться к своей профессии...

— Не касайтесь этой стороны вопроса. Да, я много лет томилась по своей работе. Все время алчно мечтала о том, чтобы писать и преподавать... Все годы, пока я пилила, кайлила, мыла полы, перевязывала язвы и прочая, и прочая... Вы это считаете моим преступлением? Проявлением беспринципности?

— Да, поскольку вас назначили просвещать тюремщиков...

— А вам не приходит в голову, что среди рядовых армии Зла есть люди, много людей, которых можно перетянуть на сторону Добра?

И тут на меня вдруг напало вдохновение. Я стала говорить о том, что в нашу эпоху, с ее невиданными масштабами, с ее стертостью линии, отделяющей палачей от жертв (сколько людей, прежде чем самим попасть в сталинскую мясорубку, с азартом перемальвали в ней других!), нет больше той баррикады, которая, скажем, в девятьсот пятом году четко разграничивала: по ту сторону ОНИ, по эту — МЫ. Неслыханная система разложения душ Великой Ложью привела к тому, что тысячи и тыся-

чи простых людей оказались втянутыми в эти соблазны. И что же? Мстить им всем? Подражать тирану в жестокости? Длительное торжество ненависти?

— Да уж, понятно, не «сеять разумное, доброе, вечное» на таком каменном поле, как комендатура МГБ!

— Позвольте, Михаил Францевич, — вмешался вдруг в разговор профессор Симорин, один из наших постоянных воскресных гостей, — давайте перенесем вопрос в практическую плоскость. Вот сейчас все мы ждем с нетерпением — обоснованно или нет, будет видно дальше — радикальных перемен в нашем обществе. Представьте себе возвращение к тому, что было задумано в идеале. Как же вы в этом случае мыслите судьбу всех этих бесчисленных маленьких комендантов, охранников, конвоиров? Сплошным Нюрнбергским процессом, что ли?

— Да! Десятками, даже сотнями таких процессов! — запальчиво воскликнул Гейс. — Мстить беспощадная, нет, не мстить, а возмездие всем сообщникам Тирана, всем его сатрапам! Пусть получит свое каждый винтик палаческой машины!

Я видела, что Гейс зарвался, что он говорил уже больше того, что думает и чувствует. Я вспомнила, как много он испытал, и мне как-то даже жалко его стало за такое разрывающее душу ожесточение. Мне очень хотелось привести вслух короткое изречение, ставшее эпиграфом к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам». Но я стеснялась вымолвить эти слова. В те времена во мне еще крепко сидели если не мысли, то подсознательные движения души, привитые уродливым воспитанием. Те размышления о Вечном и временном, о Целом и маленьких беспомощных его частицах-людях, которые я доверяла тюремным нарам в доме Васькова, я еще не могла выговаривать вслух. И вместо этой короткой исчерпывающей евангельской Истины я наговорила Гейсу кучу куда менее убедительных слов.

— Вы говорите: если оставить злодеев безнаказанными, они в конце концов разорвут мир на части. Вы, наверное, правы, если говорить о главных злодеях, о «вдохновителях и организаторах». Но ведь если встать на путь преследований каждого, кто по недомыслию, по трусости, по слабости, по жадности, по доверчивости, по темноте творил Зло, если снова поощрять звериную жестокость, пусть даже по отношению к вчерашним винтикам в сложной машине злодейства, чем все это кончится? Ведь обрастем клыками и шерстью! На четвереньки встанем!

Антон, давно уже с беспокойством поглядывавший на нас, прислушиваясь к спору, решил шуткой спустить весь разговор на тормоза.

— Признайся, что у тебя с ненавистью и впрямь плоховато обстоят дела. Тренировки нет... Не умеешь... Обмен веществ не тот...

...Но Гейс не шел на шутки, был по-прежнему мрачен. Теперь он обратился к Антону:

— А если без зубоскальства, всерьез? Одобряешь педагогическую деятельность своей жены?

— По-моему, единственное, что надо делать с этими комендантами, это их учить. Ведь темнота несусветная! И мы не знаем, что раскроется в их душах, когда хоть немного света туда проникнет...

Потом Антон помолчал немного и совсем тихо добавил:

— Вообще, мне думается, что лечить и учить надо всех...

К такому вот итогу после невообразимых страданий приходят эти без преувеличения герои, коренные жители архипелага Благородства: лечить и учить надо всех.

Обычно принято просить у читателей прощения за слишком длинные цитаты, но в данном случае я скорее готов был бы потребовать благодарности. А кто скажет, что и без меня помнил эти эпизоды, пусть первым бросит в меня камень.